

Михаил Салтыков-Щедрин

Приезд ревизора



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Приезд ревизора
Серия «Невинные рассказы»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134110

Содержание

I	4
II	11
III	20
IV	27
V	30
VI	38
VII	47
VIII	54

Михаил Евграфович Салтыков- Щедрин Приезд ревизора

I

В 18**году, декабря 9 числа, статский советник Фурначев получил из С.-Петербурга, от благоприятеля своего, столоначальника NN департамента, письмо следующего содержания:

«Милостивый Государь! Семен Семеныч!

Поспешаю почтеннейше известить вас, что в непродолжительном времени имеет быть к вам на губернии статский советник Максим Федорович Голынцев. Будет у вас под предлогом освидетельствования богоугодных заведений, в действительности же для доскональных разузнаний о нравственном состоянии служащих в вашей губернии чиновников. Качества Максима Федоровича таковы: словоохотлив и добросердечен; любит женский пол и тонкое вино; выпивши, откровенен и шутлив без меры;

в особенности уважает людей, которые говорят по-французски, хотя бы то были даже молокососы; в карты играет, но насчет рук и так далее – ни-ни! Засим, вверяя себя и свое семейство вашему неоставлению, прошу вас принять уверение в совершенном почтении уважающего вас

Филиппа Вертявкина.

Р. S. Милостивой государыне Настасье Ивановне от меня, от жены и от всех детей нижайшее почтение.

NB. Еще любит Г., чтоб его называли «вашим превосходительством». Чуть не забыл».

– Однако это скверно! – говорит статский советник Фурначев, прочитавши письмо, – что бы такое значило: «насчет рук ни-ни»? Ведь это выходит, что он... ни-ни!

Семен Семеныч в волнении ходит по комнате и, наконец, кричит в дверь:

– Настасья Ивановна! Настасья Ивановна!

Входит Настасья Ивановна, облаченная в глубокий неглиже. Глаза ее несколько опухли, и вообще выражение лица сердито, потому что она только что часок-другой соснула. Семен Семеныч посмотрел на ее измятое лицо и с досадою плюнул.

– Опять ты спала! – сказал он, глядя на нее с глубоким омерзением, – хоть бы ты в зеркало, сударыня, посмотрела,

на что ты сделалась похожа! И откуда только сон у тебя берется!

– Если вы только за тем меня позвали, чтоб ругаться, так напрасно трудились!

Настасья Ивановна хочет удалиться.

– Да постой, постой же, сударыня! получил я сегодня письмо... едет к нам ревизор... и, как видно, неблагонамеренный... потому что тово... ни-ни...

Семен Семеныч топчется на месте и не знает, как выразиться. Он убежден, что ревизор человек неблагонамеренный, но почему-то не умеет сформулировать оснований, на которых зиждется это убеждение.

– Так вы тово... поприоденьтесь немного! – продолжает он, совсем спутавшись.

– Вот как вы испугались, что уж и бог знает что говорите! – замечает Настасья Ивановна, читая письмо Вертявкина, – точно уж и приехал ваш ревизор! Однако я по всему вижу, что он должен быть очень милый человек, этот ревизор, потому что любит дамское общество!..

– Да, только не наше с вами... эй, человек! лошадь!

Семен Семеныч отправляется к генералу Голубовицкому и застаёт его в большом беспокойстве. До сведения его превосходительства дошло, что один из важнейших в городе чиновников, будучи на собственном своем сговоре, происшедшем по случаю предстоящего бракосочетания его с дочерью потомственного почетного гражданина Хрептюгина,

внезапно вскочил из-за стола и начал бить стекла в окнах беломраморного зала нареченного тестя.

– Ты это что, ваше высокородие, делаешь? – спросил его изумленный хозяин.

– А вот я таким манером всех противляющихся мне сокрушаю! – отвечал жених и с этими словами вышел из дома.

Встревоженный генерал большими шагами ходит по комнате. Он справедливо рассуждает, что если высшие сановники, эти, так сказать, административные дупельшнепы, в порывах горячности допускают себя до подобного малодушества, то каким же образом должны поступать зуйки, поручейники, кулички и прочая мелкая болотная дичь?

– А мы еще как радовались за Павла Тимофеича, что они такую прекрасную партию делают! – замечает стоящий в углу маленький чиновничек, занимающий должность доверенного лица при особе его превосходительства.

– Что ж, пьян, что ли, он был?

– Должно быть, не без того-с, ваше превосходительство; они, смею вам доложить, довольно-таки этому привержены... только все больше в одиночестве занимаются-с и велят себя в этих случаях запирать... Ну, а тут и при народе случилось...

Генерал продолжает ходить и волноваться.

– И еще случай есть, ваше превосходительство, – робко говорит чиновник.

– Ну, что там еще?

– В Песчанолесье стряпчий с городничим-с... тоже на именинах дело было-с...

– Нельзя ли докладывать скорее, без мазанья!

– И стряпчий городничему живот укусил-с! – оканчивает скороговоркой чиновник.

– Господин Фурначев приехали, – докладывает лакей.

– Ну, этого зачем еще черт принес! – восклицает взволнованный генерал, – просить!

Семен Семеныч входит и улыбается. С одной стороны, он очень рад видеть его превосходительство в добром здравье, с другой стороны, ему весьма прискорбно, что имеет сообщить известие, которого последствий никто, даже самый проникательный человек, предугадать не в силах.

– Да что же такое? неужто еще кто-нибудь подрался? – спрашивает генерал.

– Никак нет-с, ваше превосходительство, но наша губерния... впрочем, может быть, это и к лучшему-с...

– Да говорите же! что вы душу-то мне тянете!

– Ревизор, ваше превосходительство, ревизор к нам в скором времени прибыть должен!

При слове «ревизор» с генералом едва не делается дурно.

– Кто сказал «ревизор»? какой ревизор? откуда ревизор? – спрашивает он, вдруг весь вспыхнув и уже застегивая машинально пальто на все пуговицы.

– Успокойтесь, ваше превосходительство! – продолжает Семен Семеныч, – ревизор, сказывают, охотник больше до

дамского общества...

– Гм... от кого же вы получили это известие?

– Есть в Петербурге один благодетельствованный мною столоначальник-с...

– Это неприятно! это тем более неприятно, что тут же разом случились две пасквильные истории. Скажите, пожалуйста, вы были у Хрептюгина в то время, как Павел Тимофеич стекла бил?

– Как же-с; я был в числе приглашенных...

– Что же такое с ним сделалось? Вот чего я понять не могу!

– С Павлом Тимофеичем это нередко бывает, ваше превосходительство! только он до сих пор умел это скрыть-с. Сидели мы целый вечер, и все как будто ничего; и он тоже тут был – ну и тоже ничего-с... Только за ужином – должно быть, не присмотрели за ним, – вот он сначала хереску-с, потом мадерцы-с, да вдруг и встал из-за стола: «Музыканты! камаринскую!» – говорит. Я, видевши, что он уж вне себя, подозвал Хрептюгина и говорю ему; «Ведь Павла-то Тимофеича надобно убрать!» Не успел я это сказать, как уж и пошел по зале набат-с... Впрочем, это еще, ваше превосходительство, уладится: Павел Тимофеич уж объяснился с нареченным тестем...

– Ну, а слышали вы другую историю – это еще почище будет: в Песчанолесье стряпчий городничему живот прокусил!

– Ах, страм какой!

– Расскажи-ка, братец, Расскажи! – обращается генерал к доверенному чиновнику, – нечего сказать, хорош сюрприз для ревизора будет!

– Были они, – начинает чиновник, – на именном вечере; только и начал стряпчий хвастаться: «Я, говорит, здесь все могу сделать!» Ну, городничему это будто обидно показалось; он возьми да и ударь стряпчего по лицу: «что-то, мол, ты против этого сделаешь!» А стряпчий, как ростом против городничего не вышел, вцепился ему зубами в живот-с...

– Ах, страм какой! – повторяет господин Фурначев.

– И вот после этого милости просим тут пользу какую-нибудь для края принести! – говорит генерал, разводя руками.

II

Весть об ожидаемом приезде ревизора мгновенно разнеслась по городу. У тех из чиновников, у которых всякое душевное волнение выражается трясением поджилок, такое совершилось благополучно. Город оживился, но это оживление было какое-то бездушное, похожее на ту суету, которая начинается во всяком губернском городе с утра каждого высокаторжественного праздника и продолжается ни более, ни менее, как до известного, судьбой определенного срока. Петр Борисыч Лепехин, охотник поиграть в двухкопеечный преферанс, внезапно вспомнил, что высшее начальство непоощрительно смотрит на такое невинное препровождение времени, и призадумался. Он почел долгом немедленно справиться об этом в Своде законов, и хотя ничего похожего на угрозу там не нашел, но на всякий случай, пришедши вечером в клуб, не только сам не торопился составить партию, но даже отказался наотрез от карточки, которую предлагал ему Порфирий Петрович.

Федор Герасимович Крестовоздвиженский, пришедши в присутствие, потребовал немедленно к себе какие-то четыре дела («знаете: те дела, по которым...») и, обнюхавши их, вдруг пришел в восторженность, замахал руками и закричал: «Завтра же! сегодня же! катать их! под суд их!»

Иван Павлыч Вологжанин неумоимо начал разъезжать

по всем знакомым и собирать полезные сведения о жите-бытье крутогорских обывателей, дабы, в случае надобности, преподнести этот букет господину ревизору и чрез то заявить свою деятельность и преданность.

В будку, которая с самой постройки своей никогда не видала будочника и оставлена была без стекол, поставили первого и вставили последние.

Пожарных лошадей выкормили, как индеек Ивана Ивановича.

Словом, всякий готовился к принятию ревизора по-своему. Только частный пристав Рогуля оказал при этом твердость духа, достойную лучшей участи. Когда ему сказали, что будет, дескать, ревизор и не мешало бы по этому случаю поболее бодрствовать и поменьше спать, то он только поковырял в носу, испил квасу, до которого был большой охотник, и молвил:

– Знаем мы этих ревизоров! не первый год на свете живем!

Но самая хлопотливая и трудная часть деятельности выпала на долю генеральши Голубовицкой. Она кстати вспомнила, что бедные города Крутогорска что-то давно не получали никакого пособия и что такое благотворительное дело всего приличнее могло быть устроено в глазах ревизора. Поэтому на совете, составленном из лиц приближенных и известных своею преданностью, было решено: немедленно устроить благородный спектакль, а если окажется возможным, то

и живые картины.

– Помилуйте, Дарья Михайловна! какие же могут быть у нас живые картины! вы посмотрите на наших дам! – возражает старинный наш знакомый, Леонид Сергеевич Разбитной.

Но Дарья Михайловна, которая имеет весьма развитой стан и вообще удачно сложена, настаивает на необходимости живых картин. Выбор останавливается на четырех картинах: «Рахиль, утоляющая жажду Иакова», «Любимая одалиска», «Молодой грек с ружьем», «Дон-Жуан и Гаиде».

– Я могу взять на себя диетуру Иакова! – говорит молодой товарищ председателя уголовной палаты, Семионович, и поспешно прибавляет: – А если угодно, то и Дон-Жуана...

Дарья Михайловна в недоумении. Семионович, без сомнения, очень достойный молодой человек и отлично знает уголовные законы, но, во-первых, он имеет привычку постоянно издавать носом какой-то неприятный свист, а во-вторых, и фигура у него какая-то странная, угловатая... очень будет нехорошо! Дарье Михайловне хотелось бы отдать эти две фигуры учителю гимназии Линкину, который имеет и все нужные для того качества и к которому она чувствует род тихой дружбы.

– Вы, мсьё Семионович, будете слишком утомлены спектаклем, – говорит она.

– Это ничего, – отвечает Семионович, – я работаю скоро и легко...

– Ну, Гаиде, Одалиска и Рахиль – об этих фигурах нечего и говорить! – вступается кругленький помещик Загржембович, – эти фигуры по праву принадлежат Дарье Михайловне; но кому отдать Ламбро?

– Архивариусу губернского правления! – предлагает Разбитной.

– Вы всегда с вашими шутками, мсьё Разбитной! – говорит Дарья Михайловна, – *messieurs*, кто желает взять на себя Ламбро?

– Я бы охотно ее взял, – вступается Семионович, – но у меня Дон-Жуан!

– Так вы Дон-Жуана уступите... хоть мсьё Линкину!

– Признаюсь вам, что для меня положение Дон-Жуана больше симпатично... тут есть страсть, есть жизнь...

– Зато Ламбро может одеться в красный плащ, – замечает весьма основательно Разбитной, – и тут может быть великолепный *effet de lumiere*!

– Итак, Дон-Жуан – мсьё Линкин, Ламбро – мсьё Семионович, – говорит Загржембович, – но здесь возникает вопрос, на счет каких сумм сделать костюм для Дон-Жуана, потому что мсьё Линкин не имеет даже достаточно белья, чтобы ежедневно пользоваться чистой рубашкой?

– Можно как-нибудь из благотворительных сумм, – отвечает Дарья Михайловна.

– Да кстати бы уж и рубашку ему чистую сшить, – прибавляет Разбитной, которому досадно, что Дон-Жуан будет не

он, а Линкин.

– Вы опять с вашими шутками, – сухо замечает Дарья Михайловна.

– Ну-с, хорошо-с; эта статья устроена; теперь кто же будет «Молодой грек с ружьем»?

Молодого грека должна взять на себя особа женского пола – это несомненно; ружье можно достать из гарнизонного батальона – с этой стороны тоже нет препятствия. Но кто же из крутогорских дам согласится изобразить фигуру, которая в некотором смысле делает ущерб общественной нравственности? Первое благо, которым должен обладать Молодой грек, заключается в большом и остром носе – кто из дам таковым обладает? Судили-судили, и наконец глас народный указал на коллежскую ассессоршу Катерину Осиповну Немиолковскую, которая, имея точь-в-точь требуемый нос, охотно согласится облачиться и в противоестественный мужской костюм. Постановлено: отправить завтрашний день к Катерине Осиповне депутацию и усерднейше просить ее пожертвовать собой на пользу общую.

– Стало быть, живые картины улажены... Что же касается до спектакля, *messieurs*, – говорит Дарья Михайловна, – то он будет составлен из следующих пьес:

В ЛЮДЯХ АНГЕЛ, НЕ ЖЕНА, ДОМА С МУЖЕМ САТАНА

Комедия в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Г. Славский Мечислав Владиславович Семионович

Г-жа Славская Аглаида Алексеевна Размановская

Г-жа Трефкина Анфиса Петровна Луковицына

Г-жа Небосклонова Анна Семеновна Симиас

Размазня Федор Федорович Шомполов (самородный комик, процветающий в палате государственных имуществ в должности помощника чего-то или кого-то)

Прындик Леонид Сергеевич Разбитной

Лакей 1-ый Экзекутор губернского правления

Лакей 2-ой Стуколкин

ЧИНОВНИК

Комедия в 1-м действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Княгиня Дарья Михайловна Голубицкая
Полковник Леонид Сергеевич Разбитной
Мисхорин Семен Семенович Линкин
Надимов Мечислав Владиславович Семионович
Дробинкин Федор Федорович Шомполов.

– Кажется, *messieurs*, таким образом будет хорошо? – прибавляет Дарья Михайловна, прочитав список ролей.

Все находят, что отлично.

– Теперь, господа, – вступается Семионович, – необходимо выбрать нам режиссера... Я предлагаю возложить эту обязанность на Алоизия Целестиновича Загржембовича.

– Аксиос! – возглашают преданные.

Алоизий Целестиныч кланяется и благодарит за доверие. Он дает слово, что употребит все усилия, чтоб оправдать столь лестное поручение.

– Алоизий Целестиныч! – говорит Разбитной, – вы не забудьте, что для Шомполова необходимо, чтоб на репетициях был ерофеич и колбаса.

Все берутся за шляпы и намереваются разойтись.

– Господа! господа! – возглашает Загржембович, – как режиссер, я должен вас остановить, потому что не решен еще один важный пункт: кто будет суфлером?

– Мамаса! – говорит младший сынок Дарьи Михайловны, – я хочу быть суфье́ем.

– Нет, душечка, ты будешь казачком.

– Я уз бый казачком, я хочю быть суфьём.

– Ну, полно, душечка, ты будешь шоколад подавать!

– Я, господа, предлагаю выбрать суфлера из учеников гимназии: им часто приходится суфлировать друг друга!

– Великолепная мысль! вы золотой человек, Алоизий Целестиныч.

– *L'incident est vide!* – восклицает Разбитной.

Все уходят, и Семионович, заранее предвкушая доставшуюся ему роль и искрививши судорожно рот, декламирует на лестнице: «И к горю моего звания, я должен сказать, что я и обижаться не вправе, пока у нас будут взяточники». В швейцарской он уже полон негодования: «Надо крикнуть на всю Россию, – провозглашает он, – что пришла пора, и она действительно пришла, – искоренить зло с корнями», – и вместе с тем делает рукою жест, как будто действительно копается ею в земле.

По всему видно, что Семионовичу приплась очень кстати роль Надимова. Он человек молодой и горячий и потому надеется поместить в этой роли, как в ломбарде, весь внутренний жар, беспредметно накипевший в его груди.

Что касается до Разбитного, то он хотя тоже не совсем равнодушен к ожидающим его впереди сценическим тревогам, но выражает свои чувства несколько иначе, а именно: на каждой площадке лестницы производит по одному в высшей степени козлообразному антраша, – и отправляется откусывать рюмку водки к доброй знакомой своей Вере Готли-

бовне Пройминой.

III

Наступил наконец и день первой репетиции. В провинции благородные спектакли всегда составляют эпоху и на долгое время оставляют за собой отрадные воспоминания. Особливо любят их дамы, для которых эпоха спектакля как-то фаталистически совпадает с порою возрождения и любви. Статистические исследования с последнею очевидностью доказывают, что потребность в благородных спектаклях обнаруживается преимущественно после десятого декабря, то есть в то время, когда солнце, как известно, поворачивается на лето. Хотя на дворе и гвоздят еще крещенские морозы, но в теплых гостиных уже чувствуются запахи весны; появляются цветочки на окнах, и вместе с тем начинают расцветать и сердца. И вот мало-помалу в четырех закопченных стенах провинциального театра полагается первоначальная закваска той интимной, крохотной драмы, которая потом исчерпывает собою весь провинциальный карнавал. Сценическое искусство служит здесь только предлогом, или, лучше сказать, кулисами, за которыми развиваются домашние интриги, устраиваются свидания, разыгрываются сцены ревности и т.д. С одной стороны, мечутся в глаза лица совершенно счастливые и довольные; с другой, печально выступают вперед ипохондрики, снедаемые завистью и злобой при взгляде на чужое счастье; с одной стороны, слышится тот мяг-

кий, как будто детский смех, который самое счастье озаряет еще новым и более ярким светом, и рядом с ним раздаются болезненные вздохи, сосредоточенно вылетающие из груди какого-нибудь отвергнутого трезора. Здесь же, как будто бы для того, чтоб лучше оттенить картину, явится перед вами какой-нибудь Шомполов, который смотрит на предстоящий спектакль как на подвиг всей своей жизни, и добродушная физиономия режиссера, который обыкновенно избирается из так называемых «мышинных жеребчиков», обладающих любовным жаром в самой умеренной степени и потому способных сохранять постоянный нейтралитет. Иногда картина разнообразится наездом слишком ревнивых мужей, желающих собственными глазами удостовериться, в каком положении находится супружеская верность; но и это как-то не огорчает, а, напротив того, умиляет, потому что если уж признавать силу солнечного поворота на лето, то это признание должно быть равносильно и для мужей, и для жен. Впрочем, наезды подобного рода весьма редки, потому что провинциальные мужья народ вообще добродушный и, при объявлении им о наряде их жен для предстоящего спектакля, высказывают досаду свою отрывисто и невинно головою. «Ну, пошла пыльня в ход! – говорят они, – семь без козырей! Порфирий Петрович – вы что?»

Часы бьют семь, и Шомполов достаточно уж увлажнил свои внутренности из графинчика, содержащего в себе настойку, известную под именем ерофеича. Он ходит по сцене

и грустит, что случается с ним всегда, когда ерошка-маляр намалюет баканом на лице его итальянский пейзаж с надписью: «Извержение Везувия». От нечего делать он обращается к сторожу.

– Меня, брат Михеич, здесь понимать не могут! – говорит он уныло. – Здесь и люди-то, брат, не люди, а так, какие-то сирены, только навыворот: хвост человеческий, а стан рыбий... Ну, скажи ты сам: какой же я комик! и сложение и голос – все во мне трагическое!.. тут пахнет убийством, брат, злодеяниями – вот что!

Михеич слушает и искоса посматривает на водку.

– Что, видно, водочки захотелось? ну, выпьем, брат, выпьем... я добрый!.. Намеднись вот заставили меня Падчерицына играть... теперь Дробинкина! А Надимова небось не дали, а дали его Семионовичу – он, дескать, товарищ председателя! где ж тут справедливость, Михеич? ну, какой я Падчерицын?

– Мое, сударь, дело занавес опустить или вот сад на место поставить, – отвечает Михеич.

– Что ж это, наконец, будет? ведь я, наконец, к публике прибегну!.. я актер, я настоящий актер!.. Так вот нет же, Михеич! не могу, брат, я к публике прибегнуть, руки у меня связаны!.. жена, брат, шестеро детей! Откажись я играть, так завтра и от должности, пожалуй, отрешат... вот что горько-то!

Входят Загржембович и Разбитной. Последний в весьма

приятном расположении духа, скачет вдруг обеими ногами на лестницу и мурлыкает куплеты из роли Прындика.

– Алоизий Целестиныч! – обращается Шомполов к Загржембовичу, – вы справедливый человек! за что они меня обидели? За что мне Размазню дали, а Надимова отдали Семионовичу?

– Вы пьяны, Шомполов, – замечает Разбитной, живописно раскидываясь на диване.

– Нет, я не пьян, Леонид Сергеич! я выпил, потому что обижен, а я не пьян! нет, я далеко не пьян... Я хочу сказать, что я актер, настоящий актер, а не затычка!

– Ха-ха! «затычка»! Нет, это бесподобно: *mais vous etes impayable, mon cher Chompoloff!*

– Кто меня затычкой зовет? – кричит Шомполов, уже забыв, что он сам наградил себя этим прозвищем. – Кто надо мной смеяться смеет?

– Ха-ха! *impayable! impayable!*

– Кто меня затычкой зовет? – продолжает Шомполов, – не хочу я играть Размазню... я Гамлет, я Чацкий, я Надимов, а не Размазня!

Приезд Дарьи Михайловны и Аглаиды Алексеевны Размановской полагает конец спору.

– Ah, vous voila, messieurs! – говорит Дарья Михайловна и вместе с тем ищет чего-то глазами.

– Мсьё Линкина еще нет! – в упор отвечает Разбитной, и отвечает с ехидством, потому что между ним и Линкиным

есть яблоко раздора, и это яблоко – сама Дарья Михайловна.

Разбитной вообще считается «l'enfant chéri des dames» и потому очень оскорбляется, если кто-нибудь осмеливается предпочитать ему другого.

– Мсьё Разбитной! вы должны сегодняшней вечер занимать меня – это так следует по пьесе! – говорит Аглаида Алексеевна, садясь возле Разбитного.

– Вот Шомполов говорит, что ему водки не дают! – начинает «занимать» Разбитной.

– Фи, мсьё Шомполов, вы опять с вашей противною водкой! как это вы ее пьете!

– Помилуйте, Леонид Сергеич, когда же я жаловался?

– Все равно; по вашему лицу видно, что вы грустите.

– А знаете что, мсьё Разбитной, – прерывает Аглаида Алексеевна, – я один раз, разумеется украдкой от татап, попробовала выпить этой гадкой водки... и если бы вы знали, что со мной было?.. Вы, впрочем, не проболтайте... это секрет!

Входят: Катерина Осиповна Немиолковская (она же и Грек с ружьем), сопровождаемая Линкиным.

– Вы всегда опаздываете, мсьё Линкин! – сухо замечает Дарья Михайловна.

Но Линкин в ту же минуту пристраивается к Дарье Михайловне, и лицо ее проясняется.

– Начинать, господа, начинать! – кричит Загржембович, хлопая в ладоши.

– Господа! у нас в палате сегодня вечернее заседание было! извините, что опоздал! – кричит Семионович, влетая сломя голову.

Приезжает и Анфиса Петровна Луковицына с дочерью своей, по муже Симиас, дамой, обладающей лицом аквамаринowego цвета. Прибытие их проходит, однако ж, незамеченным.

На сцену выступает Аглаида Алексеевна и ужасно махает руками, желая показать этим, что она обрывает звонки.

Разбитной, пользуясь этим случаем, в одно мгновение ока направляется в тот темный уголок, в котором расположилась Дарья Михайловна с Линкиным.

– Сердце женщины – это целая бездна! вы странный человек, Линкин, вы хотите постигнуть то, что само себя иногда постигнуть не в состоянии! – томно говорит Дарья Михайловна.

Линкин слушает молча; он знает, что Дарья Михайловна любит не только поговорить, но даже насладиться звуками своего собственного голоса, и потому не смеет прерывать очаровательницу.

– Читали ли вы Гетевы «Wahlverwandschaften»? – продолжает Дарья Михайловна.

– Читал-с.

– Помните ли вы ту минуту, когда Шарлотте... делается вдруг так совестно?.. ну, я ручаюсь, что вы не поняли этого!

– Я, признаюсь, не заметил этого места.

– И не удивительно, что вы не заметили. Такую тонкую, почти неуловимую черту может понять только женщина... Сегодня, кажется, вечер у Балтазаровых? – продолжает Дарья Михайловна, заметив приближение Разбитного.

– Кажется, – отвечает Линкин.

– Вы с ними знакомы?

– Нет.

– Это жалко.

Разбитной хотя и достиг своей цели, прервав интимный разговор, но чувствует себя самого внезапно поглупевшим и не находит в голове ни одного путного слова. Он топчется на одном месте, то краснеет, то бледнеет, несколько раз сряду разевает рот, чтоб сказать что-нибудь острое, и не может.

– Вам, кажется, начинать скоро, Дарья Михайловна, – говорит он наконец не без усилий.

В эту минуту на сцене раздается потрясающий вопль. Оказывается, что Шомполов ущипнул очень больно мадам Симиас.

– Господа! к сожалению, репетиция не может продолжаться! – возглашает Загржембович, – мсьё Шомполов не совсем здоров.

– Кто нездоров? Как нездоров? – вступается Шомполов. – Она меня оскорбила, она сказала мне, что я пьян!

– Господа! репетиция кончилась!

IV

Между тем статский советник Голынцев уже приближался к Крутогорску. Ехал он довольно медленно, потому что на всякой станции собирал под рукою от станционных писарей и ямщиков сведения о генерале Голубовицком. Сведения оказывались, впрочем, весьма удовлетворительные.

– Известно, генерал-с! – отвечали писаря в одно слово, будто сговорившись. – На то они и начальники, чтоб разыскивать!

«Гм... стало быть, строг и распорядителен – это хорошо!» – подумал Голынцев.

– Шибко уж очень ездят! – отвечали, в свою очередь, ямщики.

«Гм... стало быть, деятелен – это похвально!» – зарубил себе на нос Голынцев.

Наконец, декабря 20 числа 18**года в восемь часов пополудни возок Максима Федорыча въехал в Крутогорск. На заставе встретил его полицеймейстер.

– Ва... вашему пре-е-восходительству...

– Вы, должно быть, озябли? – прервал Максим Федорыч, видя, что полицеймейстер, вместо того чтоб рапортовать, только щелкает зубами, – вы можете простудиться, мой любезный!

Возок помчался на отводную квартиру, а полицеймейстер

с своей стороны поспешил доложить генералу, что Максим Федорыч не человек, а ангел.

Максим Федорыч, приехав в квартиру, спросил самовар и позвал к себе хозяина, потому что и тут, несмотря на утомление, первую его мыслью было не спать лечь, а, напротив того, узнать что-нибудь под рукою. Вообще, он понимал свою обязанность весьма серьезно и знал, что осторожность в полицейском чиновнике есть мать всех добродетелей. Хозяин явился в круглом фраке и оказался весьма милым негоциантом, чему Голынцев очень приятно изумился и выразил при этом надежду, что и в прочих городах России со временем купцы последуют примеру этих aimables Kroutogoriens.

– Ну, скажите, что ваш добрый генерал? – начал испытывать Максим Федорыч стороною.

– Слава богу-с, ваше превосходительство!

«Ваше превосходительство» подействовало на Максима Федорыча успокоительно.

«Vfis ils sont tres bien eleves ici!» -подумал он и вслух прибавил:

– Да, да! он у вас такой деятельный!

– Попечение большое имеют, ваше превосходительство!

– Ну, и генеральша тоже, она ведь милая?

– Дарья Михайловна-с?.. смею доложить вашему превосходительству, что таких дам по нашему месту-с... наше место сами изволите знать какое, ваше превосходительство!

– Гм... это хорошо! Ну, и веселятся у вас, бывают собра-

ния, театры, балы?

– Как же-с, ваше превосходительство! благородным манером тоже собираются-с... в карты поиграть-с, или в клубе-с... все больше Дарья Михайловна попечение имеют...

– Это хорошо! я так скажу, что это один из главных рычагов администрации, чтоб всем было весело! Если всем весело, значит, все довольны – это ясно, как дважды два! К сожалению, не все администраторы обращают на этот предмет должное внимание!

– Уж что же хорошего будет, ваше превосходительство, как все, насупившись, по углам сидеть будут.

– Ну да, ну да! очень рад! очень рад познакомиться с таким милым и образованным негоциантом.

Максим Федорыч заметил, однако, что уж довольно поздно, и потому решил отдохнуть. Но прежде чем отойти ко сну, – до такой степени серьезен был его взгляд на служебные обязанности, – он вынул свою записную книжку, в которой уже были начертаны слова: «строг, но справедлив», «деятелен, распорядителен», и собственноручно сделал в ней следующую отметку: «общежителен и заботится о соединении общества, в чем немало ему помогает любезная его супруга, о которой существуют в губернии самые лестные отзывы».

V

На другой день у генерала Голубовицкого был обед. За обедом присутствовали: Змеищев, Фурначев, Порфирьев, Крестовоздвиженский и прочие сильные мира; кушали также и некоторые молодые люди, но исключительно из числа тех, от которых ничем не пахнет, а именно: Разбитной, Семионович и Загржембович. Из дам присутствовала одна хозяйка дома.

Еще накануне Степан Степаныч призвал к себе повара и имел с ним серьезное объяснение.

– Завтра у меня гость обедать будет, ты пойми это! – сказал он повару.

– Это понять можно, ваше превосходительство, не в первый раз столы готовим!

– Ну, что же ты сделаешь?

– Горячее суп с кнелью изготовить можно.

– Господи! просто, братец, воображения у тебя никакого нет!..

– А то можно и уху сварить.

– Суп с кнелью да уха, только и слов! ну, черт с тобой, делай что хочешь!

Тем и кончилось совещание, но обед все-таки вышел хороший. Подавали суп с кнелью (повар поставил-таки на своем), на холодное котлеты и ветчину с горошком, на соус фри-

касе из мозгов и мелкой дичи, в которую воткнуты были оловянные стрелы, потом пунш глясе, на жаркое индейку и в заключение малиновое желе в виде развалин Колизея, внутри которых горела стеариновая свечка, производя весьма приятный эффект для глаз.

Максим Федорыч, как дамский поклонник, садится поближе к Дарье Михайловне, и между ними завязывается очень живой разговор.

– И вы не скучаете? – спрашивает Максим Федорыч.

– Иногда... а впрочем, нет! я так всегда занята, что некогда и подумать о скуке!

– Ах да, я и забыл, что у вас есть дети... *chers petits anges!* ils sont bien heureux d'avoir une mere comme vous, madame!

– Mais... oui! je les aime...

Дарья Михайловна треплет старшего сына по щечке.

– Ей, Максим Федорыч, скучать некогда: она даже и теперь устраивает благородный спектакль, – отзывается с другого конца генерал, внимательно следящий за всеми движениями Голынцева.

– *Vraiment? mais savez-vous*, мне ужасно покровительствует счастье... я без ума от спектаклей, особенно от благородных... и я вас заранее предупреждаю, что вы найдете во мне самого строгого критика.

– Мы таки частенько здесь веселимся, – снова вступается генерал.

– Это хорошо! удовольствия, а особливо невинные... это,

я вам скажу, даже полезно: это нравы очищает, не дает, знаете, им зачерстветь...

– Это несомненно!

– А позволено ли будет узнать, si ce n'est pas une indiscretion toutefois, какие пьесы будут играть?

– «Чиновника», – отвечает Дарья Михайловна.

– Ah! c'est serieux! c'est tres serieux! только я вам скажу, тут надо актеру... par ce que c'est tres serieux!

Дарья Михайловна рекомендует Семионовича.

– Вы, конечно, поняли эту роль? – спрашивает его Максим Федорыч, – вы извините меня, что я делаю такой вопрос: дело в том, что это ведь очень серьезно!

Семионович вертит головою в знак согласия.

– Я видел в этой роли первоклассных наших актеров и, признаюсь, не совсем удовлетворен ими. Нет, знаете, этого жару, этого негодования... ну, и манеры не те... Вы ведь вообразите, что Надимов старинный дворянин, que c'est un homme de bonne famille, и вдруг человек решил не только принести себя в жертву отечеству, но и разорвать всякую связь с «старинным русским развратом»... Mais il est presque revolutionnaire, cet homme!

– Я именно так и понял это, ваше превосходительство! – отвечает Семионович.

– Да, тут надо много, очень много жару, чтоб передать эту роль... О княгине я не спрашиваю: эта роль по всем правам должна принадлежать вам, – обращается Голынцев к Дарье

Михайловне.

– А еще будут играть комедию, где Аглинька звонки рвет! – перебивает старший сын Голубовицких.

– А я буду сакаляд подавать, – продолжает младший сын.

– «Сакаляд», душечка? oh le charmant enfant. Я понимаю, что вы не должны, не можете скучать, Дарья Михайловна!

Дарья Михайловна треплет по щечке и младшего сына.

– Мамаша, Сеничка хочет в Аглинькин шоколад песку насыпать, – докладывает старший сын.

– Фи, душечка!

– Oh, le charmant enfant... quel age a-t-il, madame?

– Sept ans.

– Mais savez-vous, madame, qu'il est tres developpe pour son age? Тебе, душечка, куда хочется, в военную или штатскую?

– Я хочу в кьясном мундиейе ходить!

Все смеются и с нежностью смотрят на маленького пичугу, который уже желает красного мундира.

– Нынешнее молодое поколение удивительно как быстро развивается! – замечает Голынцев, – я уверен, что Надимову всего каких-нибудь шестнадцать лет в то время, когда он вступает на сцену... Notez bien cela – прибавляет Голынцев, обращаясь к Семионовичу.

– Извините меня, ваше превосходительство, – возражает Семионович, – но Надимов перед этим путешествовал, был на Ниле...

– Это так, но разве он не мог путешествовать с своими

родителями? или с гувернером?

– Путешествовать – так! но быть на Ниле – согласитесь сами, что это довольно трудно!

– Может быть, может быть... Au fond, vous etes, peut-etre, danle vrai... но все-таки вопрос заключается в том, что молодые люди нынче чрезвычайно как быстро развиваются... qu'en pensez-vous, madame?

– Mais... je pense que oui...

– Я, впрочем, отнюдь не против этого... Конечно, опытность... l'experience n'est pas a dedaigner, et nous autres, vieux galopins, nous en savons quelque chose...

– Опытность великая вещь, ваше превосходительство, – замечает генерал, который по временам тоже не прочь преждевременно произвести Максима Федорыча в следующий чин.

Порфирий Петрович побрякивает в знак сочувствия.

– Я против этого не спорю, ваше превосходительство; есть вещи, против которых нельзя спорить, потому что они освящены историей... Но все-таки жар, энергия... все это такие вещи, которых нам с вами недостает... mais n'est-ce pas, madame?

Дарья Михайловна очень мило улыбается; присутствующие также смеются, и даже довольно шумно, но тем не менее благовоспитанно и добродушно, как будто хотят сказать генералу: «А что, попались? ваше превосходительство!» Генерал сам признает себя побежденным и ставит себя в уровень

с общим веселым настроением общества.

– Зачем же вы, однако ж, себя включаете в число стариков? – очень любезно замечает Дарья Михайловна Голынцеву.

– Vous etes bien aimable, madame, – отвечает Максим Федорыч, – но увы! я должен сознаться, что время мое прошло!

– Должно быть, тоже изволили развиваться быстро? – шутливо замечает генерал.

– А что вы думаете? ведь это правда! в бывалые годы я тоже недурно проводил время... *mais que voulez-vous! la jeunesse – c'est comme les vagues de l'océan: cela s'en va et ne se retrouve plus!*

В это же время желе с стеариновой свечкой отвлекает общее внимание. Максим Федорыч с любопытством следит за блюдом, пока обносят им всех гостей, и в заключение находит, *que c'est joli*. Встают из-за стола и отправляются в гостиную, где опять возобновляется живой и интересный разговор.

– Я никак не ожидал, чтоб в таком отдаленном городе можно было так приятно проводить время... *Vraiment!* – замечает Максим Федорыч.

– Если бы вашему превосходительству угодно было удостоить меня посещением сегодня вечером на чашку чаю?.. – говорит Порфирий Петрович, подходя к Голынцеву и переминаясь с ноги на ногу.

– С величайшим удовольствием... вы меня извините, что

я не был у вас с визитом...

– Помилуйте, ваше превосходительство!..

И Порфирий Петрович, сделав полуоборот на одном каблучке, кашлянув и несколько покраснев, удаляется.

– Et demain, nous allons en piquenique: j'espere, que vous en serez? – спрашивает Дарья Михайловна.

– Madame, vous pouvez disposer de mon temps et de ma personne selon votre bon vouloir..

– В таком случае я сама за вами заеду, – любезно продолжает генеральша.

– Ah, madame! vous etes d'une bonte!

Наконец все начинают чувствовать некоторое обременение желудка и мало-помалу раскланиваются с хозяевами. Голынцев замечает это и также спешит отретироваться.

Все очень довольны.

– Ах какой приятный человек! – говорит Порфирий Петрович, обращаясь к Крестовоздвиженскому.

– Просто именно добрейший человек! – отвечает Крестовоздвиженский и внезапно начинает размахивать руками, как человек, который не в состоянии овладеть своими чувствами.

Семионович уходит, обдумывая замечания Голынцева по поводу роли Надимова, и решается припустить еще более жару в выражении того спасительного негодования, которым проникнута эта роль. Леонид Сергеич Разбитной выражает свое удовольствие тем, что скачет с одной ступеньки на

другую обеими ногами вдруг, и на одной ступеньке говорит: «pique», а на другой: «nique».

VI

На другой день в часу третьем пополудни огромный поезд останавливается перед домом, в котором имеет резиденцию Максим Федорыч. Впереди всего поезда едет полицеймейстер на лихой тройке, подобранной волос в волос из числа пожарных лошадей. За полицеймейстером следуют четвероместные сани, в которых обретаются генерал и генеральша Голубовицкие и двое детей. Тут же садится и Максим Федорыч.

Поезд трогается; ямщикам приказано быть веселыми, вследствие чего они поют песни и помахивают кнутами. Максим Федорыч замечает, что такого рода загородные поездки, кроме того что представляют много удовольствия, весьма полезны для здоровья.

– Et regardez, comme c'est joli -обращается он к Дарье Михайловне, указывая на длинную вереницу саней, растянувшуюся на полверсты, – как это напоминает запоздалых путников, которые спешат на ночлег!

И действительно, картина очень милая, потому что день ясный, и лучи солнца, упавая на белую снеговую равнину, обливают ее сверкающим, почти нестерпимым блеском; сани быстро скользят по едва пробитой дороге, а пристяжные лошади, взрывая копытами снег, одевают экипажи серебристым облаком пыли, что также очень недурно.

– У нас удивительно здоровый климат, – говорит генерал, – поверите ли, ваше превосходительство, странно сказать, а даже в простом народе никогда никаких болезней не происходит!

– Да? стало быть, состояние народного здоровья можно назвать удовлетворительным?

– Больше чем удовлетворительным!

– Ну, а народная нравственность?

– Насчет народной нравственности тоже могу сказать, что довольно удовлетворительна... конечно, бывают там между ними... ну, да это домашними средствами!..

– Гм... это хорошо! это очень утешительно, что народная нравственность в удовлетворительном состоянии... Потому что народ, ваше превосходительство... это его, можно сказать, единственная забота, чтоб быть нравственным... Если уж и в народе нет нравственности, что же такое будет?

– Это справедливо, ваше превосходительство... в этом отношении, я могу сказать... я очень счастлив... Народ здесь очень нравствен! Одно только обстоятельство меня огорчает: ябедников здесь очень много.

– Д-да?

– Точно так-с; я, конечно, не стал бы жаловаться вам на это, если бы не имел удовольствия так близко познакомиться с вами и не убедился вполне, что вы не заподозрите меня... Но теперь могу сказать прямо: да, ябедничество слишком укоренилось здесь!

– Скажите пожалуйста!.. но чем же вы объясните такое явление? вероятно, оно откуда-нибудь занесено сюда, потому что не может быть, чтоб здесь были какие-нибудь причины жаловаться... Везде, где я был, передо мной проходили всё лица совершенно довольные.

– Из Новгорода, Максим Федорыч, из Новгорода... Поверьте, что это все старая новгородская кляуза действует!..

– Гм... стало быть, здешний народ стоит на довольно высокой степени развития? – замечает Голынцев, вспомнив о Марфе Посаднице.

– О да! с этой стороны я могу почесть себя совершенно счастливым! я могу сказать, что имею дело с людьми развитыми, и если бы не ябедничество...

– Однако ж надо бы принять меры против распространения этого зла, ваше превосходительство... Я, с своей стороны, готов содействовать!

– Я, с своей стороны, полагаю, ваше превосходительство, что для уничтожения этого зла необходимо между народом распространить «истинное просвещение»...

– То есть как это истинное просвещение... грамотность, хотите вы сказать?

– О нет, упаси боже! грамотность-то именно и распространяет у нас ябедников...

– Гм... да! я понимаю вас! вы хотите сказать, что если бы не было грамотных, то некому было бы просьбы писать? Так, кажется?

– Точно так, ваше превосходительство!

– А что вы думаете: ведь в этом много правды! несомненно, что тогда административная машина упростилась бы чрезвычайно... ну, и сокращение переписки... Однако мне весьма бы любопытно знать, что вы понимаете под «истинным просвещением»?

Генерал задумывается; он хочет выразиться как-нибудь аллегорически, упомянуть про невинность души, про доверчивость, про веселое и безгорестное выражение физиономии и другие несомненные признаки «истинного просвещения», но так как в ораторском искусстве он никогда не имел случая упражняться (потому что и вообще в России искусство это находится в младенчестве), то весьма естественно, что мысли его путаются и в голове его поднимается такой сумбур, для приведения которого в порядок необходимо было бы учредить целое временное отделение с тремя столами, из коих один заведовал бы невинностью души, другой – доверчивостью и т.д. Дарья Михайловна замечает это и спешит выручить супруга своего из беды.

– Ah, messieurs, vous aurez encore tout le temps de causer affaire! – замечает она, очаровательно улыбаясь.

– Это правда. Мы, ваше превосходительство, были очень неучтивы перед Дарьей Михайловной! – говорит Максим Федорыч и потом снова прибавляет, указывая на поезд: – Mais regardez, comme c'est joli!

Однако виднеется уже и цель поездки: одноэтажный се-

ренький домик, в котором устроено все нужное для принятия гостей. Неподалеку от дома генеральскую тройку обгоняют сани, в которых сидят Загржембович, Семионович и Разбитной, то есть сок крутогорской молодежи. Разбитной восседает на облучке, и в то время, как тройка равняется с санями Дарьи Михайловны, он старается держать себя как можно лише и вместе с тем усиливается смотреть по сторонам и разговаривает с своими спутниками, чтоб показать, что он лихой и все ему нипочем.

В небольшой зале уже накрыт стол и батальонная музыка играет весьма усердно. Хотя это дело обыкновенное и всем давно известно, что батальон вместе с кузницей и швальной непременно обладает и полным бальным оркестром музыки, но Максим Федорыч считает долгом прямо изумиться.

– Да у вас тут целый оркестр! – говорит он Дарье Михайловне, – *mais... c'est tres joli!*

За обедом начинается тот же милый, летучий разговор, которого образчики приведены в предыдущей главе, с тою разницею, что теперь он непринужденнее и вследствие этого еще милее. Дарья Михайловна ни на шаг не отпускает от себя дорогого гостя. За общим шумом и говором между ними заводится интимная беседа, в которой Дарья Михайловна открывает Максиму Федорычу все тайные сокровища своего ума и сердца. Беседа, разумеется, ведется на том миллом французском диалекте, о котором наши провинциальные барыни так справедливо выражаются «этот душка фран-

цузский язык».

– Если кто хочет найти доступ к сердцу женщины, тот должен постучаться в двери ее воображения, – утверждает Максим Федорыч.

– Вы думаете?

– Я совершенно в этом уверен... Кто произносит при мне слово «воображение», тот вместе с тем произносит и слово «женщина», и наоборот...

– А я думаю, что на бедных женщин клеветают, говоря, что у них воображение развито на счет сердца... возьмите, например, чувство матери!

– О, чувство матери – это так! – *c'est sublime, il n'y a rien a dire!* но я не об нем и говорю... Мы возьмем женщину, свободную от всяких такого рода отношений, женщину, созданную, так сказать для того, чтоб только любить... *madame Beausent*, например?

– Но я вам могу указать против этого на Марту, на Лукрецию Флориани...

– И все-таки я утверждаю, что все эти героини именно потому и оказались слабы сердцем, что в них слишком развито было воображение.

Дарья Михайловна задумывается.

– Нет, вы не знаете женщин! – говорит она положительно.

– *Oh, mais je vous demande pardon, madame!*

– Нет, потому что вы отнимаете у женщины ее лучшее сокровище – сердце!.. А впрочем, я и забыла, что вы мужчи-

на...

– А все-таки главное в женщине – это ее воображение...

– Вы странный человек, мсьё Голынцев; вы хотите уверить меня, что постигнули женщину... то есть постигли то, что само себя иногда постигнуть не в состоянии...

– Oh, quant a cela, vous avez parfaitement raison, madame!

– Читали ли вы Гетевы «Wahlverwandschaften»?

– О, как же!

– Помните ли вы там одно место... ту минуту, когда Шарлотта, отдаваясь своему мужу, вдруг чувствует... скажите: сердце ли это или воображение?

Максим Федорыч безмолвствует, потому что, признаться сказать, он в первый раз слышит о Шарлотте, да сверх того и вопрос Дарьи Михайловны слишком уж отзывается метафизикой.

– Вы потому ошибаетесь в женщине, – продолжает Дарья Михайловна томно, – что ищете чувства в одном ее сердце... Но ведь оно везде, это чувство, оно во всем ее существе!

Максим Федорыч решительно побежден.

– О, если вы берете вопрос с этой точки зрения, – говорит он, – то, конечно, против этого я ничего не имею сказать.

Таким образом, победа остается за Дарьей Михайловной, но, как женщина умная, она очень хорошо понимает, что одолжена своим торжеством не столько самой себе, сколько великодушию своего противника.

После обеда время проводится очень приятно; в зале

устраиваются танцы, в соседней комнате раскладываются карточные столы. Следовательно, и юность, увенчанная розами, и маститая старость, украшенная благолепными седи-нами, равно находят удовлетворение своим законным по-требностям.

Максим Федорыч играет в карты легко и чрезвычайно приятно. Он не кричит, не подмигивает, не говорит «тэк-с» и вообще не выказывает никаких признаков душевного вол-нения. Партию его составляют: генерал Голубовицкий, Пор-фирий Петрович Порфирьев и Семен Семеныч Фурначев. Занятие картами не мешает Максиму Федорычу вести вме-сте с тем весьма приятный и оживленный разговор; во время сдачи он постоянно находит какую-нибудь новую тему и раз-вивает ее с свойственным ему увлечением. Так, например, он находит, что Англия сделала в последнее время на про-мышленном поприще гигантские успехи, а что во Франции, напротив того, *l'ere des revolutions n'est pas close...*

– Ах, какой приятный человек! – замечает Порфирий Петрович, когда Голынцев оставляет на минуту своих парт-неров, чтобы посмотреть на танцующих.

– И, кажется, много начитан! – прибавляет от себя Семен Семеныч.

Но вот начинается мазурка, и Максим Федорыч по необ-ходимости должен кончить игру, потому что дамы едино-душно сговорились выбирать его для фигур. Само собою ра-зумеется, что Максим Федорыч в восторге; он забывает по-

чтенный свой возраст и резвится, как дитя: хлопает в ладоши во время шэнов и рондов, придумывает новые фигуры и с необыкновенною грациею ловит платки, которые бросаются, впрочем, дамами именно в ту сторону, где находится Голынцев.

Одним словом, день проходит незаметно и весело. Во время сборов в обратный путь Максим Федорыч очень суетится и хлопочет. Он лично наблюдает, чтоб дамы закутывались теплее, и до тех пор не успокоивается, покуда не убеждается, что попечительные его настояния возымели надлежащее действие.

VII

Я не стану говорить об обедах и вечеринках, данных по случаю приезда Максима Федорыча сильными мира сего, пройду даже молчанием и великолепный бал, устроенный в зале клуба... Во все время своего пребывания в Крутогорске Максим Федорыч был положительно разрываем на части, и за всем тем не только не показал ни малейшего утомления или упадка душевных сил, но, напротив того, в каждом новом празднестве как бы почерпал новые силы для совершення дальнейших подвигов на этом блестящем поприще.

Перлом всех этих увеселений остался все-таки благородный спектакль, на котором я и намерен остановить внимание читателя. Максим Федорыч сам неусыпно следил за ходом репетиций, вразумлял актеров, понуждал ленивых, обуздывал слишком ретивых и даже убедил Шомполова в том, что водка и искусство две вещи совершенно разные, которые легко могут обойтись друг без друга.

Прежде всего шла пьеса «В людях ангел» и проч., и все единогласно сознались, что лучшего исполнения желать было невозможно. Аглаида Алексеевна Размановская играла решительно, *comme une actrice consommée*! Хотя в особенности много неподдельного чувства было выражено в последней сцене примирения, но и на бале у Размазни дело шло нисколько не хуже, если даже не лучше. Отлично также изоб-

разила госпожа Симиас перезрелую девицу Небосклонову, а пропетый ею куплет о Пушкине произвел фурор. Но Разбитной, по общему сознанию, превзошел самые смелые ожидания. Он как-то сюсюкал, беспрестанно вкладывал в глаза стеклышко и во всем поступал именно так, как должен был поступать настоящий Прындик. Один Семионович был неудовлетворителен. Он никак не мог понять, что Славский – дипломат, который под конец пиесы даже получает назначение в Константинополь, и вел себя решительно как товарищ председателя. Даже Фурначев понял, что тут что-то не так, и сообщил свое заключение Порфирию Петровичу, который, однако ж, не отвечал ни да, ни нет, а выразился только, что «с нас и этого будет!».

Начались и живые картины. Максим Федорыч лично осмотрел Гаиде и нашел, что Дарья Михайловна была *magnifique*. Шомполов, бывший в это время за кулисами, уверял даже, будто Максим Федорыч прикоснулся губами к обнаженному плечу Гаиде и при этом как-то странно всем телом дрогнул. Впрочем, надо сказать правду, и было от чего дрогнуть. Когда открылась картина и представилась глазам зрителей эта роскошная женщина, с какою-то страшною негой раскинувшаяся на турецком диване, взятом на подержание у советника палаты государственных имуществ, то вся толпа зрителей дико завопила: таково было потрясающее действие обнаженного плеча Гаиде. Напрасно насупливался мрачный Ламбро, напрасно порывался вперед милovidный

Дон-Жуан, публика не замечала их полезных усилий и всеми чувствами стремилась к Гаиде, одной Гаиде.

Вторая картина была также прелестна. Несколько приятных молодых дам и девиц, un essaim de jeunes beautés, в костюмах одалиск и посреди их Дарья Михайловна с гитарой в руках произвели эффект поразительный.

Третью картину спасла решительно Дарья Михайловна, потому что Семионович (Иаков) не только ей не содействовал, но даже совершенно неожиданно свистнул, разрушив вдруг все очарование.

Грек с ружьем прошел благополучно.

Но само собой разумеется, что главный интерес все-таки сосредоточивался на «Чиновнике». В публике ходили насчет этой пьесы разные несообразные слухи. Многие уверяли, что будет всенародно представлен становой пристав, снимающий с просителя даже исподнее платье; но другие утверждали, что будет, напротив того, представлен становой пристав, снимающий рубашку с самого себя и отдающий ее просителю. Последнее мнение имело за себя все преимущества со стороны благонамеренности и правдоподобия, и потому весьма естественно, что в общем направлении оно оправдалось и на деле. Максим Федорыч сильно трусил. Он видел, что Семионович совсем не так понял свою роль.

– Mais veuillez donc comprendre, mon cher, – говорил он, – ведь Надимов человек новый, но вместе с тем и старый... то есть, вот видите ли... душа у него новая, а тело, то есть

оболочка... старая!.. Здесь-то, в этом безвыходном столкновении, и источник всей катастрофы... vous comprenez?

Но Семионович не понимал; он, напротив того, утверждал, что у Надимова душа старая, а тело новое... и что в этом-то именно и заключается не катастрофа, а поучительная и вместе с тем успокаивающая цель пьесы: это, мол, ничего, что ты там языком-то озорничаешь, мысли-то у тебя все-таки те же, что и у нас, грешных.

Максим Федорыч был в отчаянии и не скрывал даже чувств своих.

– Все идет отлично, – говорил он в партере окружавшим его губернским аристократам, – но Надимов... признаюсь вам, я опасаюсь... я сильно опасаюсь за Надимова... какая жалость!

И действительно, вместо того чтоб представить человека по наружности холодного, насквозь проникнутого бесподобнейшим *comme il faut* и только в глубине души горящего огнем бескорыстия, человека, собирающегося высказать свою тоску по бескорыстию на всю Россию, однако ж, по чувству врожденной ему стыдливости, высказывающего ее только княгине, Мисхорину, полковнику и Дробинкину, Семионович выходил из себя, драл свои волосы и в одном месте дошел до того, что прибил себя по щекам. Даже крутогорская публика как-то странно охнула при таком явном нарушении законов естественных и человеческих, а Порфирий Петрович весь сгорел от стыда.

Наконец представление кончилось. Слово «joli» слышалось во всех углах, только канцелярские чиновники, обитатели горних и страшные зоилы, остались не совсем довольны, да и то потому, что их заверили, что будет непременно представлен становой, да и не какой-нибудь другой становой, а именно второго стана Полорецкого уезда – Благоволенский.

На другой день в губернских ведомостях была напечатана в виде письма к редактору следующая статья:

«Позвольте и мне, скромному обитателю нашего мирного города, поговорить о прекрасном торжестве, которого мы были вчера свидетелями. Известно вам, милостивый государь, какое благодетельное влияние имеют зрелища (а в особенности благородные) на нравственность народную. С одной стороны, примером наказанного порока смягчая преступные наклонности, зрелища, с другой стороны, несомненно возвышают в человечестве эстетическое чувство; эстетическое же чувство, в свою очередь, пройдя сквозь горнило нравственности, возвышает сию последнюю и через то ставит ее на ту ступень, где она делается основой всякого благоустроенного гражданского общества. С этой точки зрения намерен я обозреть критически вчерашнее торжество.

Первое, что представляется при этом моему умственному взору, – это цель, которой служили благородные жрецы искусства. Не одна слеза будет отерта, не один вздох благодарности вознесется, в виде теплой молитвы, за благород-

ных благотворителей... Один французский ученый сказал, что дама, которая покупает шаль, подает с тем вместе милостыню бедному... святая и глубокая истина! И наши добрые крутогорцы вполне ее поняли! Но не стану больше распространяться об этом предмете; я знаю, что скромность и даже некоторая стыдливость есть нераздельная принадлежность всякого благотворительного деяния, и потому... умолкну.

Но не могу умолчать о благотворной мысли, присутствовавшей при выборе пьес. В настоящее время, когда умственное око России должно быть обращено, по преимуществу, внутрь ее самой, наши добрые крутогорцы вполне доказали, что они стоят в уровень с обстоятельствами. Выбор такой пьесы, как «Чиновник», положительно доказывает это. Мы сами были свидетелями потрясающего действия этой пьесы, которое в соединении с истинно пластической игрой исполнявшего роль Надимова члена благородного крутогорского общества останется навсегда незабвенным на страницах нашей летописи. Да! мы можем смело давать на нашей сцене «Чиновника»! мы можем без горечи выслушивать страстные и благонамеренные филиппики г. Надимова! Эти укоры, эти филиппики не до нас относятся! Благодарение богу, мы уже поняли свой долг относительно любезного нашего отечества и, положа руку на сердце, можем сказать: Г-н Надимов! в ваших словах заключается горькая правда, но этой правде нет места в Крутогорской губернии!

Скажу несколько слов и об исполнении, но, не же-

лая оскорбить прекрасное чувство скромности, которым одушевлены наши благородные благотворители, вынужден умолчать о многом, что накопело на дне благодарной души. Прежде всего, должен я упомянуть о трудах ее превосходительства Дарьи Михайловны, по мысли и наставлениям которой было устроено настоящее торжество. Затем, все исполнители, принявшие участие в деле благотворения, были безукоризненны. Как хороша была княгиня! Как увлекательно наивна была Славская! Как... но нет, я чувствую, что перо мое начинает переходить само собою за пределы той скромности, о которой я говорил... Итак, умолкну!

Мужайтесь, благородные труженики! боритесь с препятствиями и преодолевайте их! Не смотрите на то, что на пути вашем иногда растут не розы, а терния – таков уж удел всех действий человеческих! Помните всегда, что за вашими невинными занятиями стоят толпы иных тружеников, которые посылают к небу горячие мольбы о ниспослании вам сугубых сил на новые подвиги!» Сочинитель этой статьи, коллежский секретарь Песнопевцев, удостоился в тот же день чести быть приглашенным к обеденному столу его превосходительства Степана Степаныча.

VIII

Наконец, в одно прекрасное утро, Максим Федорыч спохватился, что пора уж ехать, тем более что репертуар увеселений начинал истощаться. Он собрал свои воспоминания, посоветовался с записною книжкой и нашел, что материалов для будущего донесения предостаточно. О генерале Голубовицком и преимущественно о генеральше предположил он высказаться с особенною теплотою. В пользу их можно, пожалуй, даже пожертвовать двумя-тремя субъектами, чтоб лучше и явственнее оттенить картину. Само собою разумеется, что нельзя же всех чиновников найти добродетельными; это невозможно, во-первых, потому, что самая природа в своих проявлениях разнообразна до бесконечности; а во-вторых, потому, что и начальство не поверит этой эпидемии добродетели и, чего доброго, заподозрит еще способности ревизора. Поэтому выбраны были в жертву так называемые пререкатели и беспокойные, которых и оказалось двое: советник губернского правления Евфратский и член приказа Семибашенный. Евфратский жил весьма уединенно, ни к кому не ездил и вследствие того был заподозрен в вольнодумстве и в намерении восстановить в России патриаршеское достоинство, о чем будто бы он и выражался стороною там-то и тогда-то. Семибашенный же хотя и не мечтал о восстановлении патриаршеского достоинства, но взамен того неод-

нократно предъявлял пагубную склонность к исламизму и даже публично называл турок счастливыми, приводя в основание такого мнения лишь грубые поспешные выводы своей чувственности. Само собою разумеется, что такие лица не заслуживали ни малейшего снисхождения.

Прощание было очень трогательно. На обеде, данном по этому случаю генералом Голубовицким, было сказано много теплых слов и выпито немало тостов за здоровье дорогого гостя.

– Скажу вам откровенно, – выразился при этом генерал, с чувством пожимая руку Максима Федорыча, – я давно, очень давно не имел такого приятного гостя!

– Позвольте и мне, в свою очередь, удостоверить, ваше превосходительство, что давно, очень давно я не имел таких приятных минут, какие провел здесь, в вашем любезном обществе, – отвечал Максим Федорыч взволнованный.

– Mais revenez nous voir, – любезно сказала Дарья Михайловна.

– Impossible, madame! мы, люди службы, люди деятельности, не всегда можем следовать влечениям сердца...

Все присутствовавшие были растроганы. Когда же после обеда наступил час расставания и Максим Федорыч долго, в каком-то тяжком безмолвии, держал в своих руках руку Дарьи Михайловны, то его превосходительство Степан Степаныч не мог даже выдержать. Он как-то восторженно замахал руками и бросился обнимать Голынцева, а Семионович, стоя

в это время в стороне, шепотом декламировал:

When we two parted
In silence and tears...

Вечером, часу в девятом, ровно через месяц по приезде в Крутогорск, Максим Федорыч уже выезжал за заставу этого города. Частный пристав Рогуля, сопровождавший его превосходительство до городской черты, пожелал ему счастливого пути и тут же, обратившись к будочнику, сказал:

– Ну, вот и ревизор! что ж что ревизор! нет, кабы вот Павла Трофимыча Перегоренского к ревизии допустили – этот, надо думать, обревизовал бы!

В эту же ночь послал бог снежку, который в каких-нибудь два часа закрыл самый след повозки Максима Федорыча.